

Улыбки и гримасы современности

ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА ДЖОНАТАНА ЛИТТЕЛЛА

С.Г. Чукин

Санкт-Петербургский военный институт МВД

Аннотация: Автор на основе анализа романа Джонатана Литтелла “Благоволительницы” ставит моральные проблемы войны, банализации насилия и персональной ответственности. Как полагает автор, войны и подобные им социальные катастрофы происходят по причине деонтологизации жизни, доминирования когнитивного и ценностного релятивизма, нормативной дезориентации индивидов. В заключение выдвигается предположение о грядущей конкретизации нормативного, контекстуализации дискуссий по ценностным вопросам.

Ключевые слова: онтология, война, банализация насилия, коллективная вина, универсальная мораль, эмотивизм, ценностный релятивизм.

Виновных нет, поверь, виновных нет:
Никто не совершает преступлений,
Берусь тебе любого оправдать,
Затем, что вправе рот заткнуть любому...
Шекспир. Король Лир

Алессандро Барикко, в предисловии к пересказу гомеровской «Илиады», адаптированной им для современного итальянского читателя, признается, что испытывал трудности с отбором фрагментов, которые можно было бы изъять из текста, не нарушив при этом его смысловой цельности. И, в конце концов, остановился на том, что пожертвовал сценами, где действуют боги. У самого Гомера боги достаточно часто вмешиваются в мирские дела, не только управляя событиями и предвосхищая их исход, но и разрешая ситуации, когда сами люди оказываются не в состоянии это сделать. Барикко убежден, что для современников сцены с богами выглядят совершенно лишними фрагментами, которые лишь запутывают и удлинняют ход повествования. Люди нашего времени стремятся к самостоятельности и свободе, привыкли опираться только на самих себя и объясняют свои поступки исключительно собственной волей. Удаляя богов из «Илиады», Барикко, по его признанию, перемещает эту историю на орбиту современного повествования, делает её более понятной. И совсем уж человеческой.

«Илиада» - это первый, по настоящему литературный памятник в истории человечества. И этот памятник - войне. Гомеру она представлялась естественным содержанием цивилизованного существования, которое помогает взрастить и развить человеческие добродете-

ли, важные и необходимые в мирной жизни. Но и после Гомера война воспринималась интеллектуалами точно так же, как единственное место, где сущностные силы человека достигают своего высшего накала и подъема. Н. Гумилев, Э. Юнгер, Л. Витгенштейн, К.Э. Гада и многие другие стремились на фронт, полагая, что смогут обрести там необходимый для творческого прорыва опыт. В этой их убежденности, - пишет Барикко, - отражается лик цивилизации, для которой война всегда оставалась раскаленной основой человеческой жизни, двигателем любого становления. И до тех пор, пока эта красота войны не будет замещена другой красотой, а именно – красотой мира, которая не потребует от людей убивать друг друга, допинг военного насилия по-прежнему будет стимулировать миллионы людей. Но не эфемерны ли эти надежды? Ведь даже после чудовищных войн XX столетия, военная риторика не стала маргинальной. Неужели все так безнадежно?

Роман Джонатана Литтелла «Благоволительницы» - хороший повод еще раз поразмышлять на эту тему. Его перевода с нетерпением ожидали российские читатели, которые познакомились с отрывками из романа и были в курсе его несколько скандальной известности на Западе. На наш взгляд, эти ожидания себя оправдали. Роман – очень слоеный, на многие вкусы. Он - «рай» для психоаналитиков. Но прежде всего, это книга о войне, о том, во что человек превратил войну, и что она делает с человеком. Литтелл пишет: «Многие политические философы утверждают, что на период войны гражданин, в первую очередь, конечно, мужского пола, теряет самое основное право – право на жизнь. ... Но мало кто из философов добавляет, что гражданин теряет еще и другое право, тоже элементарное и для него жизненно важное, связанное с его представлением о себе как о цивилизованном человеке: право не убивать». Но почему?! Откуда у войны такая власть?

Главный персонаж романа, офицер СД, доктор права Максимилиан Ауэ постоянно размышляет над этим вопросом. И тогда, когда лично участвует в массовых расстрелах, и когда наблюдает за тем, как это делают другие, и уже после войны, ведя образ жизни неприметного среднего буржуа, примерного семьянина и отца двух дочурок. По тексту разбросано много намеков-ключей, которые можно использовать для поиска ответа на вопрос об основной идее романа. Один из них – таинственные покровители Максимилиана Ауэ, доктора Мандельброд и Леланд, обладающие мистической властью чуть ли не над самим фюрером. После того, как поражение Германии стало фактом, они предлагают своему протектору последовать за ними и перейти на сторону русских. Их, похоже, там ждут. Ибо, как говорит Леланд, начатая онтологическая война не завершена, и продолжать её будет Сталин.

Слово «онтологический» - сакральное для философии, одной из задач которой является строительство онтологических теорий. Они имеют следующий вид: «Действия типа А всегда являются правильными или неправильными в ситуации В, независимо от того, какие они имеют последствия». Онтологические войны ведутся между фундаментальными идеями, принципами, ценностями, которые не подлежат обсуждению и одобрению по той причине, что за ними больше ничего нет, они – последний рубеж. Цель такой войны – торжество указанных начал, демонстрация их превосходства. Победитель получает право определять, что является истиной и справедливостью, а также назначать виновных. Мандельброд и Леланд – жрецы онтологической войны, её кукловоды. Они играют в Бога, их возбуждает сознание того, что сражающиеся в реальных боях воины и не подозревают, за что они на самом деле погибают. Солдат на войне живет одним днем, он руководствуется в большей степени инстинктом, чем разумом, ибо размышление требует времени и усилий, а этот ресурс чаще всего в дефиците. Гораздо проще и легче выполнять приказы, и не думать об их легитимности. И так – по всей иерархической лестнице, вплоть до той ступени, на которой обретаются лица, отдающие приказы, но не получающие их. Там же следует искать виновных. У Литтелла – это высшие руководители рейха. Но кто же в этом случае доктора Мандельброд и Леланд? Почему с ними согласуют свои действия Гиммлер и Шпеер, и, вполне вероятно, советуется сам фюрер? Феноменальная бессмысленность войн и военных конфликтов нашего

времени – хорошая возможность предположить наличие в них каких-то скрытых причин и целей, известных только метафизическим штабам, новым Мандельбротам и Леландам?

«Благовоительницы» - хороший повод для реабилитации нормативного дискурса в разговорах на общественно-политические темы. Для нашего времени характерна боязнь онтологии, и проявляется она в уклонении от поиска «последних» оснований. К их числу относится вопрос о том, что такое добро и зло. Знание разницы между ними - предельное знание. Но как его достичь обычному человеку? Бернард Шоу как-то заметил, что далеко не каждый человек может рассчитать напряжение ствола артиллерийского орудия, хотя это не сложно. Но чуть ли не каждый мнит себя знатоком различий между добром и злом, что предполагает знание предела напряжения у человека, который противится соблазну.

Максимилиан Ауэ много размышляет над этим вопросом. Добро и зло, по его убеждению, - это категории, которые помогают оценить последствия воздействия одного человека на другого, но непригодны для того, чтобы делать вывод о происходящем в душе другого человека. Да, член *Einsatzkommande* убивал или приказывал убивать, что является злом, однако он добр по отношению к своей семье, равнодушен к остальным, и, что немаловажно, уважает закон. Для немца быть хорошим немцем означает подчинение законам и фюреру. Другой морали не существует, потому что нет ничего, на чем она могла бы строиться. В выигрышном положении находятся религиозные люди, сохранившие свой нравственный ориентир в боге. Без бога этого не осилить, ибо, где тогда черпать оправдание? «Как человек может по своему усмотрению выносить вердикты и говорить, что здесь хорошо, а это там плохо? Что за светопредставление, что за хаос будет, если каждому вздумается так вести себя: если каждый человек станет жить по собственному закону, каким бы кантианцем он ни был, - и вот мы опять возвращаемся к Гоббсу...».

На первый взгляд, ничего оригинального Литтелл, по сравнению с Достоевским и Ницше, не предлагает: или Бог, или человек. Федор Михайлович был убежден, что если бога нет, то все дозволено. Ницше полагал, что от человека ничего, кроме человеческого, не ждешься. Поэтому говорить о бесчеловечности того, что творят люди, неправильно. Максимилиан Ауэ также подписывается под этими словами: есть только человеческое и еще раз человеческое.

Итак, если источником добра и зла является сам человек, то с него следует и спрашивать за последствия его действий. Но является ли злом *Endlösung*? – Нет, поскольку источником этого решения является фюрер. Растолковывая Адольфу Эйхману суть категорического императива Канта, Ауэ формулирует «принцип фюрерства»: действуйте таким образом, чтобы фюрер, узнав о вашем поступке, одобрил бы его». Принцип фюрерства, в свою очередь, проистекает из убеждения, что в национал-социалистическом государстве воля фюрера выступает последним обоснованием позитивного права. Фюрер – выразитель воли народа, а мы все – слуги фюрера, а через него – всего народа. Это и есть оправдание того, что мы делаем, ибо мы подчиняемся приказам.

Итак, получается, что виновных в массовых убийствах невозможно отыскать, а значит – их нет. Ведь для того, чтобы убийство состоялось, необходимы были согласованные действия десятков людей: кто-то принимает решение, кто-то составляет списки, кто-то проводит аресты, кто-то перевозит жертвы, кто-то переводит стрелки на железной дороге и т.д. Тот, кто приставляет дуло к голове жертвы и нажимает на спусковой крючок, может сделать это только в том случае, если жертву приведут и поставят перед ним. Без каждого из названных лиц дело не было бы сделано, но каждый делал лишь определенную часть. Может стоить спросить и Всевышнего, который все это допустил.

Действительно, если рассматривать происходящее как событие из мира явлений, то виновных нет, ибо действия всех людей причинно обусловлены. Если кто-то откажется делать свою часть работы, на его место найдут другого, а он сам и его семья пострадают. «Я не считаю себя демоном, - пишет Ауэ. – Каждый мой поступок всегда оказывался следствием опре-

деленных причин. Нельзя зарекаться: «Я никогда не убью», можно лишь сказать: «Я надеюсь не убить». Я живу, делаю, что могу, как все вокруг, я – человек, как и вы. Уж поверьте мне: я такой же, как и вы! Угроза, особенно в смутные времена, кроется в обычных гражданах, из которых состоит государство. По-настоящему опасны для человечества я и вы». В этих словах скрыт еще один ключ к пониманию идеи романа. Литтелл пытается выяснить возможность и границы персональной ответственности человека за свои поступки. Даже если он находится во власти фюрера, встроено в закольцованную иерархическую систему и подчиняется приказам.

Распространенным следствием большинства описаний войны является банализация насилия: солдаты сражаются за великие цели: защищают родину, свой очаг, родных и близких. Неважно, что для этого нужно убивать чужих отцов, сыновей и братьев, разрушать чужие отечества. Ведь это – война. Она не может обойтись без насилия. Когда кто-то излишне усердствует в своем исполнении воинского долга, он может попасть под суд. Но такие случаи редки. А уж победителей никто не судит. Если бы Германия выиграла войну, то на скамье подсудимых оказались другие фигуры, и им предъявили бы обвинения в бомбардировках Берлина и Дрездена, расстрелах военнопленных, интернировании немцев и японцев.

Литтелла занимает вопрос не о коллективной вине, а об индивидуальной ответственности. Когда виновны все, то это равнозначно тому, что не виновен никто. Ибо это расплывает ответственность, не дает возможности её осознать. Он убежден, что до тех пор, пока на индивидуальном, персональном уровне участие в войне не станет предметом обстоятельной нравственной рефлексии, а решение убивать или не убивать, не будет взвешиваться на онтологических весах, войны сохранят свой статус банального события человеческой истории.

Что такая персональная ответственность возможна, напоминает название романа. Оно отсылает нас к классической Греции, к трагедиям Эсхила и Софокла. Это время, когда определенность героического периода, с простыми и ясными нормативными координатами, осталась позади. Поступок является следствием мучительного решения, выбора между конкурирующими ценностями, в условиях существования Рока, Судьбы. Это фактор, давящий сильнее чем, воля командира, выраженная в приказе. Потому что в справедливости и неотвратимости судьбы невозможно сомневаться: это предначертание богов, узнать которое можно вопросив оракула. Но существование Рока не снимает с человека ответственности за поступки, которые он совершает, пытаясь продлить время до встречи с неизбежным. Орест стоит перед выбором: простить мать и прогнать Аполлона, или отомстить за отца и попасть под земной суд, с вероятностью смертного приговора. Его решение безупречно даже по меркам того времени, но это его решение, за которое он готов отвечать. Эринии, терзающие Ореста, глухи к личным мотивам, побудившим его совершить убийство матери. Они руководствуются тем, что такое преступление является нарушением закона, безусловным злом, вне зависимости от времени, места, обстоятельств. И похоже, на Олимпе также нет единодушия по этому вопросу: Афине пришлось приложить немало усилий для того, чтобы отозвать благоволиельниц, вцепившихся мертвой хваткой в матереубийцу. В «Филоктете» Софокла мы можем наблюдать ту же самую борьбу между двумя правдами. Неоптолем, помогающий Одиссею заполучить волшебный лук Филоктета вместе с самим его обладателем, интуитивно, сердцем, понимает, что обманывать этого человека, а тем более – чинить над ним насилие, – это несправедливость, и даже зло. Но как красноречив и убедителен Одиссей, доказывающий юноше его неправоту, ссылающийся на интересы общего дела! И все равно, только вмешательство Аполлона помогает решить проблему.

Жанр трагедии привлекателен тем, что он изображает ситуацию не как банальную повседневность, а как исключительное событие, как выбор между жизнью и смертью. При этом персонажи чаще всего осведомлены о том, что они находятся во власти Рока, однако не опускают рук, а борются до конца, не снимая с себя ответственности. Предметом оценки является поступок, действие, а не связь между намерением и следствием. Какими бы ни были смягча-

ющие обстоятельства, они не принимаются в качестве оправдания. Да, участь Эдипа незавидна, но греки были убеждены, что он расплачивается за грехи своего рода, а потому возмездие является справедливым.

Максимилиан Ауэ, судя по всему, также совершает убийство матери и отчима, хотя мотив для этого у него довольно сомнительный. Клитемнестра не скрывает, что она убила Агамемнона, но оправдывается тем, что сделала это в отместку за дочь, Ифигению, принесенную им в жертву. Но вина главного персонажа «Благоволительниц» - продукт его воспаленного воображения. Да и отец, судя по воспоминаниям всех, кто его знал, тот еще был мерзавец. Для чего Литтеллу понадобилось вводить эту сюжетную линию в роман? Возможно, параллели с «Орестеей» призваны показать уязвимость мотива личного мщения. Благоволительницы - это не только два полицейских инспектора, бульдожьей хваткой вцепившиеся в Ауэ и не отпускающие его даже во время боев в Берлине. Эринии стоят за снами и половыми извращениями героя, которые Литтелл смакует на страницах романа. Богини мести, не имея возможности прямо покарать героя, избирают этот путь. Автор как бы показывает, что нравственная испорченность человека – это его вина, а вовсе не продукт обстоятельств.

Да, Максимилиан Ауэ, Дёлль, Адольф Эйхман и другие персонажи «Благоволительниц» выполняли приказ, но приказ приказу рознь. На кону была человеческая жизнь, причем – не одна. Это та самая чрезвычайная ситуация, в которой – каждый принимает решение самостоятельно. Антигона знает, что за неповиновение приказу Креонта её ждет казнь. Но она не может поступить иначе, потому что следует правде, более высокой и универсальной, чем политическая целесообразность, лежащая в основе приказа Креонта. Приказ фюрера – это не Рок, не Судьба. Но даже, если бы он был таковыми, что мешает Ауэ не повиноваться ему?

Ответ может быть таким: профанация ситуации, её упрощение. Использование массы приемов, для того, чтобы трансформировать происходящее в обычную бытовую драму. Боязнь бездны, которая открывается, когда к убийству относишься как к трагедии. «Для нас это был очередной день, для них он был последним» - мимоходом отмечает Ауэ. Как можно манипулировать словами «последний» и «очередной» в ситуации, когда речь идет о человеческой жизни? Чтобы закамуфлировать бесчеловечность и преступность происходящего, использовался специальный язык: «окончательное решение», «особое обращение», «специальные меры», «трудная задача была выполнена». Массовые расстрелы происходят как бы сами собой, без участия людей, которые лишь составляют отчеты. Когда Ауэ оправдывается, что он лишь выполнял свою работу, хочется спросить: «Но почему ты так старался?» Кто заставлял тебя проявить инициативу по изготовлению фотоальбома «о проделанной работе»? - В ответ слышим: «Каждый должен выполнять свою работу с любовью».

Максимилиан Ауэ при каждом удобном поводе дает понять, что его поведение является вполне нормальным и рационально объяснимым, более того –единственно приемлемым в тех обстоятельствах, в которых он оказался не по своей воле. Только находясь внутри ситуации, можно принять верное решение. Его правильность означает уместность, то есть конкретизацию по времени, месту и содержанию. Это решение для «здесь и сейчас». Чтобы осуждать кого-то и давать оценки человеческим поступкам, нужно оказаться на их месте.

Поскольку подобные рассуждения встречаются все чаще, особенно в связи с резонансными историческими событиями и противоречивыми персоналиями, есть смысл рассмотреть их подробнее. Для этого обратимся еще к одному художественному источнику – роману польского писателя Анджея Барта «Фабрика мухоловок» [Барт 2010]. Он вышел на русском языке двумя месяцами ранее «Благоволительниц», но, к сожалению, прошел мимо внимания большинства читателей и критики. Тема Холокоста рассматривается в романе с несколько необычной стороны: причастности к нему самих евреев, точнее – юденратов, создаваемых гитлеровскими властями в качестве органов самоуправления в еврейских гетто. Оба произведения, помимо проблемы персональной ответственности за массовые убийства,

связывает личность известного философа Ханна Арентт. Литтелл, не ссылаясь на её «Банальность зла», использует некоторые факты и комментарии из этой работы, а в романе Барта философ выступает в качестве эксперта на вымышленном судебном процессе.

Роман представляет собой фантазмагорическое описание воображаемого судебного процесса, затеянного против Хаима Румковского – главы лодзинского юденрата, который руководил гетто более трех лет и закончил свою жизнь, как и многие его обитатели, в Освенциме. Большинство участников этого процесса мертвы, и их «воскрешение» ценно тем, что они могут судить о происшедшем в гетто и о своей судьбе с позиций завершенности своей жизни. Если обобщить обвинения, звучащие из уст прокурора и привлеченных им свидетелей, то преступление Румковского состоит в том, что он своей деятельностью помогал гитлеровцам реализовывать «окончательное решение», лично определял категории лиц, подлежащих первоочередной депортации в лагеря смерти, пресекал любые попытки саботажа и открытого сопротивления со стороны своих подопечных. Адвокат юденратена оправдывает своего подзащитного тем, что в сложившихся обстоятельствах его деятельность руководствовалась стремлением сохранить как можно большее число жизней и продлить существование самого гетто. Он мог бы отказаться от сотрудничества с немцами, предпочтя смерть. Но на его место был бы определен кто-то другой и далеко не факт, что он оказался бы более подходящим управленцем.

Присутствующие на процессе подтверждали, что Румковский создал в гетто что-то вроде минигосударства, со своей полицией, предприятиями, школами, ремесленными училищами, больницами, социальными службами. Он сделал обязательным труд для всех способных к нему, не принимая во внимание профессии и квалификации, жестко централизовал распределение продовольствия. Его прозвали «Хаимом Грозным» за крутой нрав, но терпели диктаторские методы управления, сознавая их необходимость и эффективность. Лодзинское гетто просуществовало дольше всех аналогичных образований – четыре года. Адвокат, увлекшись, сравнил Румковского с Моисеем, выводящим избранный богом народ из египетского плена. На что из зала прозвучал вопрос: «Вы можете представить себе Моисея, приказывающего бросать еврейских детей под египетские колесницы, чтобы задержать погоню? - Боюсь, что могу... - защитник произнес эти слова тихо, но они прозвучали как выстрел».

Камнем преткновения на процессе стала «слеза ребенка»: Румковскому не смогли простить того, что составляя, по требованию властей, списки на депортацию, он включал в них в первую очередь младенцев, стариков и тяжелобольных людей.

Проблему сотрудничества с оккупационными властями одной из первых обозначила Ханна Арентт. В своих репортажах, освещающих суд над Эйхманом, она открыто обвинила органы еврейского самоуправления в коллаборационизме и более того, утверждала, что заключенные-добровольцы из числа евреев обслуживали практически весь конвейер смерти в концентрационных лагерях. Позже, сведя эти репортажи в книгу под названием «Банальность зла», Арентт ставит вопрос, выходящий за рамки содержания «окончательного решения». Он звучит так: «Не является ли удобной ширмой для оправдания зла так называемая «коллективная вина», предполагающая и коллективную ответственность?»

Нюрнбергский трибунал, покарвав наиболее одиозных деятелей третьего рейха, по сути, признал, что многие тысячи людей, участвовавшие в акциях против мирного населения и военнопленных, невиновны. Они выполняли приказ и не могли его ослушаться, поскольку это грозило им смертью. Джонатан Литтелл вкладывает в уста своего героя примерно такие же резоны. Он утверждает, что во время войны человек лишается двух фундаментальных прав: права не убивать и права не быть убитым. И еще неизвестно, какое из них важнее. То, что ты стоишь в составе расстрельной команды, а не напротив неё, у края общей могилы, это, во многом, случайность. Могло бы быть и наоборот. Если ты родился в то время, когда людям не приходится убивать друг друга, значит, тебе повезло. Но если сама реальность такова, что ставит перед выбором: убивать или быть убитым, то как быть? Если убийство стало частью

реальности, даже более того, реальность стала убийственной? Можно ли в таких условиях сохранить невинность? По убеждению Литтелла – это худшее из того, что можно сделать.

Один из соратников Румковского, настаивая на том, что принимаемые юденратеном решения были рациональными, восклицает в ответ на смешки из зала: «А каким еще должен быть разум во времена всеобщего безумия?!» Очевидно, что стороны понимают разумность по-разному. Для одних она совпадает с эффективностью и целесообразностью, другие включают в рациональное действие нормативный компонент. Во втором случае не может считаться рациональным поступок, предусматривающий убийство невинного человека. Разумеется, обычный человек, не обремененный образованием и не склонный к рефлексии, не вдается в эти тонкости. У него есть два возможных подспорья при принятии решения: или приказ вышестоящего начальства, которому он доверяет, или, если такого приказа нет, здравый смысл, нравственная интуиция. Для верующего человека есть бог, но в данном случае он может рассматриваться как разновидность начальства. Адольф Эйхман сетует в романе на трудности, с которыми ему приходится сталкиваться, организуя депортации евреев из Дании, Италии и неоккупированной части Франции. Он с возмущением говорит о саботаже на всех уровнях – от органов власти до простых граждан. Ханна Арендт подтверждает этот факт: «История датских евреев – это *suigenesis*, уникальный случай, и поведение датского народа и его правительства было беспрецедентным среди всех стран Европы. Когда немцы обратились к ним (датчанам – С.Ч.) с заботливым предложением ввести желтые нашивки, датчане просто сообщили им, что первым её прикрепит на свою одежду король страны, а правительственные чиновники Дании обстоятельно предупредили, что в случае любых антиеврейских акций они немедленно подадут в отставку» [Арендт 2008: 257-258]. Ричард Рорти, рассуждая о природе человеческой солидарности, также упоминает об этом: «Если бы вы были евреем, когда поезда шли в Освенцим, ваши шансы быть спрятанными вашими христианскими соседями были выше, если бы вы жили в Дании или Италии, чем если бы вы жили в Бельгии» [Рорти 1996: 239]. Следует ли из этого, что датчане и итальянцы более милосердны, чем бельгийцы, голландцы и литовцы, которые продемонстрировали в этом вопросе жестокость или равнодушие? - Очевидно, да.

Рорти, будучи последовательным контекстуалистом, уверен: причину следует искать не в том, что одни люди признают существование общечеловеческой «самости», а другие – нет. Для датчанина и итальянца еврей – это не еврей в первую очередь, а сосед, коллега по работе, друг его сына, отец пятерых детей и т.д. Это человек, находящийся в одном с тобой жизненном пространстве, симпатичен или несимпатичен тебе точно так же, как и другой, и национальность здесь не причем. Это жизненное пространство становится солидарным с течением времени, и состав социального цемента настолько сложен, что выделить в нем главный компонент не представляется возможным. Да обычным людям этого и не нужно. Они живут здравым смыслом и ощущают мир своей кожей, поры которой не забиты шлаками от переработки нравственных анаболиков.

Ослабление солидарности и атрофия нравственного чувства начинается тогда, когда появляются оторванные от социального, культурного и временного контекста теории, навязывающие идеал, стандарт человечности, далекий от реальности. Вам предлагают видеть в вашем соседе такого же человека, что и вы. Но для большинства людей это слишком сложно: мы видим в других не «человека вообще», а владельца автомастерской, отца одноклассника моего сына, мусульманина, выходца из Азербайджана и т.д. И людей это не «напрягает», они научаются вполне мирно уживаться и, в случае общей беды чаще всего демонстрируют солидарное поведение. Не потому, повторяемся, что видят друг в друге такого же человека, что и они сами, а потому что привыкли жить вместе, притерлись друг к другу, интуитивно чувствуют границы дозволенного и недозволенного в общении друг с другом.

У Н.С. Лескова, в рассказе «Котиндоилец и Платонида» есть очаровывающее своей простотой суждение о том, почему герой поступил в сложной ситуации мудро: потому что

он, к счастью, не философствовал, но хорошо чувствовал, а потому действовал, как ему подсказывало чутье жизни. Философ Б.Г. Капустин верно подметил, что проблемы, не имеющие решения с теоретической точки зрения, чаще всего решаются практически [См.: Капустин 2010]. Об этом же, несколько раньше, писал Макс Вебер, обращая внимание на то, что социальная наука не может справиться с нормативными вопросами, тогда как в обыденной жизни люди давно и успешно научились с ними обходиться [Вебер 1990: 565]. Так может быть причина всего этого зла, которое затопило нашу Землю почище реального вселенского потопа, в том, что мы просто отказываемся следовать своему врожденному чувству и перекладываем ответственность на духовных и политических фюреров?

Но Литтелл разрушает и эту надежду. Он показывает, что не стоит строить иллюзий относительно способности и желания «среднего» человека самому разобраться в вопросах добра и зла. Таким обобщенным средним персонажем в романе является водитель Ауэ, фольксдойче, рядовой СС Пионтек. До войны он был обычным крестьянином, зарабатывающим на жизнь тяжелым трудом. От победы в войне для себя он ожидает увеличения земельного надела и дешевых, а может быть и бесплатных работников. Примерно так же мыслили войну большинство немцев. Они видели, что их соседи-евреи вдруг стали куда-то исчезать, но старались не думать, куда именно. От доходивших слухов отмахивались. Созданный в 1937 году концентрационный лагерь Бухенвальд находился рядом с Веймаром, культурной столицей Германии, где в разное время жили и творили И.В. Гете, Ф. Шиллер, И.С. Бах, Ф. Лист, Ф. Ницше. Персонал, включая и тот, что осуществлял карательные акции в отношении заключенных, проживал в деревне неподалеку. Возвратившись после «работы» домой, охранники снимали пропитанную ужасом и смертью форму, умывали руки, которыми до этого мучили и убивали своих жертв, обнимали и ласкали жен, ерошили волосы на головах детей. Они были хорошими отцами и мужьями, в выходные дни устраивали с соседями пикники, танцевали, радовались жизни. А в это время, в километре от них дымили трубы крематория, сжигавшего очередную партию врагов рейха. Было бы наивным считать, что жители не знали о том, что происходило в лагере. Виновны ли они в том, что происходило внутри ограды из колючей проволоки? Стало бы такое возможно в то время, когда в Веймаре жили Гёте и Шиллер?

Позиция Ханна Арендт, которую она высказала в «Банальности зла» и в романе Барта, вполне определена: все, кто лично участвовал в акциях, виновны. Если бы никто не захотел быть палачом, казни стали бы невозможны. Литтелл опровергает и эту позицию как прекрасную иллюзию: «Желание поглядеть на такое (массовые казни – С.Ч.) заложено в человеческой природе, и возможно высшее командование беспокоило мысль, что люди способны получать удовольствие от подобного рода деятельности. Не стану отрицать, действительно многим это нравилось». Некоторые солдаты вермахта, которые не привлекались к акциям, просили, чтобы им дали возможность поучаствовать в казнях. Это – факт. Многие позировали на фоне расстрелянных людей, виселиц, обменивались фотографиями, посылали снимки родным. И не видели в этом ничего зазорного.

Максимилиан Ауэ мог бы ходатайствовать о своем переводе из Einsatzkommande, однако не сделал этого. Почему? – «Я еще не все понял». Он признается, что участвуя в акциях и наблюдая за казнями, он пытается достичь чего-то, ощутить нечто, доселе не ощущаемое. Он представляет происходящее как кино съемку, где сам является одновременно оператором и объектом съемки. Его терзает вопрос: что же такое должно произойти, чтобы он испытал потрясение, изменился, переродился духовно? Запах и вид крови, созерцание ужаса и душевных мук жертв не вызывают в нем ничего, кроме обычной психофизической усталости и расстройства желудка. Запах мокрой листвы, земли и перегноя, который Ауэ ощущает во время охоты на глухаря, будит в нем воспоминания: «Я почувствовал досаду: во что меня превратили, если теперь, при виде леса, я думаю об общей могиле». Только досаду!

Видимо за новыми впечатлениями и чувствами на Кавказский фронт прибыл и пехотный капитан Эрнст Юнгер. Об этом Литтелл мельком упоминает, отмечая восторг, с которым известного в Германии писателя и философа встречали немецкие солдаты и офицеры. Описывая в «Дневниках...» свои впечатления от посещения частей, знакомства с моральным состоянием войск, Юнгер упоминает об акциях службы безопасности в отношении евреев, называя их чудовищными и позорными: «Вглядываясь в отдельные судьбы и подозревая о размерах злодеяний, совершающихся в местах уничтожения, ощущаешь такие страдания людей, что опускаются руки. Отвращение охватывает тогда меня перед мундирами, погонями, орденами, оружием, чей блеск я так любил. ... Итак, человек достиг состояния, которое Достоевский описал в «Раскольникове». Себе подобного он воспринимает как вредного паразита. Именно этого он должен, прежде всего, остерегаться, если не желает очутиться в мире насекомых. Это ведь о нем и его жертвах потрясающее, вечное: «Это – ты» [Юнгер 2002: 273]. Но далее дневниковой записи осуждение не пошло.

Беда концепций универсальной морали в том, что она ослабляет персональную ответственность, перекладывая её на вышестоящую инстанцию, выступающую источником представлений о благе. В периоды фундаментальных потрясений, таких как войны и революции, универсальные теории зачастую оказываются соучастниками случившейся катастрофы. И человек остается один на один перед выбором: или быть членом расстрельной команды, или стать напротив, у края могильного рва. Априори мы сочувствуем тем, кто оказался в роли жертвы, но Литтелл обращает наше внимание и на тех, кто решил стать палачом. Он изображает их как людей, также нуждающихся в сочувствии и жалости. По той причине, что они оказались крайними в длинной цепи легитимации господствующих нормативных стандартов. Ханна Арендт видела «проблему Эйхмана» в том, что «... таких как он, было много, и многие не были ни извращенцами, ни садистами, - они были и есть ужасно и ужасно нормальными» [Арендт 2008: 411]. Трагизм состоит в том, что человек, совершая то, что позже объявят преступлением, в тот момент сам не сознавал и не ощущал как неправильный поступок. И то, что Карл Ясперс назвал «коллективной виной» всех немцев, вряд ли стало бы темой дискуссий, если бы Германия одержала победу.

Ответ на вопрос о том, виновны ли Максимилиан Ауэ и Мордехай Румковский, невозможен в границах того морального горизонта, который сформировался после разрушения героических обществ. В античном мире это произошло на рубеже V-IV вв. до нашей эры, в феодальной Европе – в XII–XIII вв. Герои Гомера и европейских средневековых эпосов не терзаются выбором, ибо для них его не существует. Есть только один образ жизни, способ поведения в конкретной ситуации, и он предписан социальной ролью, которую играет человек. Эта роль, среди прочего, возлагает на него определенные обязанности и дает права, требует определенных добродетелей. Верх и низ, черное и белое, прекрасное и безобразное, добродетели и пороки очевидны и понятны любому члену сообщества, которое является одновременно и моральной общиной. Все, кто находятся внутри него, – «свои». Выбора нет, а значит, нет и трагедии.

Греция Эсхила, Софокла, Платона и Аристотеля отличается от гомеровской в том числе и тем, что в ней возникают конкурирующие системы ценностей, требующие от человека выбора. Важность этого выбора, его последствия видны только в ситуации, которая гораздо позже будет названа «пограничной». Иными словами, персонажи относятся к ней так, как будто вопрос идет о жизни и смерти, они онтологизируют проблему, доводят её до крайней степени жесткости: или – или. Это и есть трагедия. Относиться к жизни как к трагедии означает знать свой Рок, но не смиряться перед ним, не пытаться его изменить, ибо это невозможно. Жить, сознавая неизбежность не смерти вообще, но своего индивидуального «конца света», - значит бросать вызов судьбе, не давать себе поблажки и, что очень важно, отвечать за все свои поступки, как бы они ни были детерминированы этой неизбежностью. Ибо твоя Судьба – не случайна, на неё повлияли многие события, случившиеся еще до твоего рожде-

ния, и ты отвечаешь за дела своих прародителей. Ты несешь часть их вины, а потому – не должен роптать.

Вот это сознание персональной ответственности, которую нельзя переложить на кого-то другого, заставляет человека в «пограничных ситуациях» решать практический силлогизм. Аристотель много размышлял над тем, чтобы дать людям правило, по которому они могли бы безошибочно определять, как действовать в конкретных специфических условиях. Это должно быть что-то, похожее на простой категорический силлогизм, который позволяет из двух посылок вывести безошибочное заключение. Человек, как рациональное животное, оказавшись в ситуации, требующей решения, принимает его, опираясь на мыслительное взвешивание определенных факторов. Главным элементом практического силлогизма является представление о благе. Именно к нему стремится все, что существует, а потому обоснование этого блага является ключевым элементом, предваряющим действие. Аристотель уверен, что индивидуальные представления о благе, которыми руководствуется грек классического периода, формируются под влиянием общей концепции блага, которую разделяют все члены полиса. Иными словами, полис является не только политическим, но и моральным сообществом. У индивида не возникает коллизии между сущим и должным, его фактический поступок является одновременно и нравственно оправданным.

На смену этим представлениям пришел эмотивистский террор, длящийся последние триста лет. Он способствовал маргинализации нормативного дискурса, вытеснению вопросов о добре и зле на кухню. Возможно, в свое время, это был оправданный шаг: разделить, чтобы потом объединиться. Но «потом» так и не наступило. Полная «зачистка» социального пространства от ценностей привела к тому, что единственной мерой человеческой свободы являются законы положительного права. А тенденцией времени стало умножение этих законов, свидетельствующее о тотальном недоверии к человеку, посягательству на свободу его совести, отказ в праве на самостоятельное решение и индивидуальную ответственность. «Делай (или не делай) то, что предусмотрено законом, и не думай о том, хорош этот закон или нет!»

Каждое поколение наступает на свои грабли, и воспоминания о шишках, при этом получаемых, существуют только для него. Наверное, это имеет в виду Литтелл, когда говорит, что у людей короткая память. Даже те, кто принимал непосредственное участие в событиях, с течением времени утрачивают остроту впечатлений, которой обладали в момент непосредственного погружения в них. Что уж говорить о тех, кто знает и судит о них со стороны? – Пусть побывают в их шкуре. Там и в то время. Стать же над временем и пространством могут очень немногие. Кант, Ханна Арендт. Кто еще? В этом-то, на наш взгляд, и состоит проблема: видеть в случившемся только частную трагедию. Евреи рассматривают войну только как Холокост, еще раз подтвердивший, что спасением для них будет возвращение в землю обетованную, восстановление государства. Для русских – она Великая Отечественная война, в очередной раз явившая миру русское чудо. Для французов вторая мировая война – следующий раунд бесконечных тяжб с бошами, победа в котором, на этот раз, оказалась на их стороне. Мало кто смотрит на это столкновение как на битву света и тьмы, добра и зла, каждый абсолютизирует свою маленькую победу, не понимая, что в универсальном масштабе это – поражение. Тем, кто оказался на стороне победителей – легче: их прикрывает тень общего оправдания, которое они же сами для себя и придумали. Другие переживают комплекс коллективной вины и со страхом ожидают прихода Благоволительниц.

Война, является, как говорил Шекспир, лишь временным потрясением, которое даже полезно «Для тех, кто засорил себе кишки / Безбедной жизнью, и объелся счастьем». Она, с одной стороны, явственно демонстрирует широту человеческой природы, проявляющуюся в немыслимой жестокости и беспримерном героизме, но, с другой стороны, выступает катализатором смысловых размышлений, способствует кристаллизации нормативных размышлений. Максимилиан Ауэ и советский комиссар Илья Правдин, в силу способности к ра-

финированной рефлексии, рассматривают войну как столкновение последних принципов, хотя и противоположных по содержанию, но вполне равновесных. Для неотягощенного философской культурой солдата нравственные коллизии проявляют себя в алкоголизме, психосоматических деформациях и расстройстве пищеварения.

Война и подобные ей социальные катастрофы периодически случаются, в том числе и потому, что в предшествующее им обычное время люди упорно отказываются от четких определений, жестких границ, недвусмысленных оценок происходящего, стремятся избежать столкновений по принципиальным вопросам. Проще всего это сделать, если убедить себя в том, что таких вопросов не существует. Как говорил чеховский Тригорин: «Всем места хватит, и новым, и старым, - зачем толкаться?»

Политкорректность, толерантность, мультикультурность, являющиеся конкретизациями когнитивного и ценностного релятивизма, деонтологизируют жизнь, лишают её глубины, делают невозможным и бессмысленным занятием любого рода определения. И как следствие - хаотизация социального и культурного пространства, нормативная дезориентация индивидов. Это то, что постмодернизм считает единственно приемлемым и справедливым существованием: «Все учтены, но никто не предпочтен».

Какова перспектива такого существования? – Есть все основания считать его переходной стадией от одной определенности к другой. Нас ожидает очередная конкретизация нормативного, перемещение внимания в локальные сферы, контекстуализация дискуссий по ценностным вопросам. Де-факто это уже происходит с 80-х годов прошлого столетия в рамках коммуитаризма. Мы стоим на пороге очередной войны ценностей, которая, как показывает история, вполне может привести к реальной войне. Той, в которой доктор Мандельброт и доктор Леланд будут наслаждаться самим процессом, поскольку результат для них не имеет значения. И конца этому, на наш взгляд, не предвидится в принципе.

Арендт Х. 2008. *Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме*. – М.: Издательство «Европа».

Барт А. 2010. *Фабрика мухобоек* / Пер. с польского К. Старосельской. – М.: Мосты культуры.

Вебер М. 1990. *Избранные произведения*. - М.: Прогресс.

Капустин Б.Г. 2010. Современность как предмет политической теории. - *Политическая концептология. Журнал междисциплинарных исследований*. - № 3.

Рорти Р. 1996. *Случайность, ирония и солидарность*. – М.: Русское феноменологическое общество.

Юнгер Э. 2002. *Излучения (февраль 1941 – апрель 1945)* / Пер. с нем. – СПб.: «Владимир Даль».